

18+

ДЕВУШКА

с распущенными
волосами

Марина Батицкая

Марина Батицкая

Девушка с распущенными

волосами

<https://litres.ru/74225742>

ISBN 9785007040532

Аннотация

Каждую ночь Эдвард видит сон, в котором Мирабель смеётся у открытого окна, ходит босиком по дому, спорит, любит... У них есть дети, дом, море за окном и та счастливая жизнь, от которой он когда-то отказался.

Но каждое утро он просыпается рядом с другой женщиной.

На границе сна и яви Эдвард проживает две жизни: одну — правильную, одобренную обществом; другую — запретную, но единственно настоящую для его сердца. И чем светлее становится счастье во сне, тем невыносимее оказывается пробуждение.

Содержание

Часть I. Лето у пруда	5
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Девушка с распущенными волосами

Марина Батицкая

© Марина Батицкая, 2026

ISBN 978-5-0070-4053-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I. Лето у пруда

В тот день Мирабель впервые пришла в парк без шляпки.

Позже Эдвард Эшфорд будет думать, что именно с этого всё и началось: не с её лица, не с голоса, не с того, как она смеялась, запрокидывая голову, будто английское небо было создано лишь затем, чтобы принимать её смех. Всё началось с непокрытой головы.

В Лондоне женщина могла забыть перчатки, сказать лишнее за чаем, даже позволить себе слишком пристальный взгляд — всё это ещё можно было объяснить рассеянностью, молодостью, дурным влиянием континента. Но выйти днём в парк без шляпки, с волосами, свободно лежащими на плечах, — это было почти заявление. Почти вызов. Почти неприличие.

Мирабель, разумеется, не считала это вызовом.

Она шла по дорожке вдоль пруда в белом платье, таком лёгком, что ветер иногда прижимал ткань к её коленям, а иногда, напротив, раздувал её у щиколоток, как пену. Тёмные волосы падали ниже плеч мягкими, упрямыми кольцами. Солнце цеплялось за них так, будто в каждой пряди была спрятана тёплая итальянская медь.

В одной руке она держала кружевной зонтик, сложенный и бесполезный, потому что солнце ей явно нравилось. В другой — тонкую папиросу.

Эдвард заметил сначала папиросу.

Он стоял у воды, ожидая кузена, который, как всегда, опаздывал, и смотрел на уток с тем видом холодного терпения, к которому его приучили с детства. Человек его положения не раздражался на публике, не торопился, не показывал скуки. Он мог ждать сколько угодно, если ждал красиво.

Потом из-за ивы вышла она.

Не появилась — именно вышла, как выходят не в парк, а на сцену. И всё вокруг странным образом сделалось для неё декорацией: пруд, мост, деревья, дорожка, даже утки, чьи зелёные головы вдруг показались Эдварду нелепо яркими.

Она остановилась у самой воды, наклонилась и посмотрела в пруд. Волосы соскользнули вперёд, почти коснувшись поверхности.

— Осторожнее, — сказал Эдвард прежде, чем успел решить, стоит ли говорить.

Мирабель подняла глаза.

Карие. Глубокие. Не тёмные даже, а такие, в которых темнота жила вместе с золотом. В них было что-то южное, беспокойное, слишком открытое для английского утра.

— Вы думаете, вода может меня украсть? — спросила она.

Говорила она по-английски правильно, но с мягким акцентом, от которого самые обычные слова становились чуть теплее.

— Вода редко спрашивает разрешения, — ответил он.

Она улыбнулась.

— Как и я.

Эдвард должен был счесть это дурным тоном. Дерзостью. Лёгкостью, опасной в женщине и непростительной в молодой незамужней иностранке. Он должен был поклониться, отойти и больше никогда не вспоминать её лица.

Вместо этого он спросил:

— Вы итальянка?

— Разве это так заметно?

— В Англии заметно всё, что не старается быть английским.

Она рассмеялась, и смех её прошёл по воде мелкой дрожью.

— Тогда мне здесь будет трудно.

Эдвард посмотрел на её непокрытую голову, на белое платье, на папиросу между пальцами, на зонтик, который она держала так, будто он был не частью туалета, а забавной игрушкой.

— Боюсь, да, — сказал он.

— Прекрасно, — ответила Мирабель. — Я не люблю места, где слишком легко дышать.

И в эту минуту Эдвард впервые подумал, что рядом с ней он сам до сих пор, возможно, вовсе не дышал.

Эта мысль была настолько нелепой, что он почти рассердился на себя. Воспитанный человек не позволял себе подобных внутренних преувеличений из-за незнакомки у пруду.

да, тем более из-за незнакомки, которая курила на людях и разговаривала с мужчиной без всякого смущения.

Но Мирабель уже отвернулась от него и снова смотрела в воду.

— Здесь красиво, — сказала она. — Только слишком спокойно.

— Разве спокойствие — недостаток?

— Иногда да. В слишком спокойной воде легче всего утонуть.

Она произнесла это без тени мрачности, почти рассеянно, словно говорила о погоде или о цвете неба. Эдвард нахмурился. Фраза показалась ему неуместной, хотя он не смог бы объяснить почему. Может быть, потому, что она стояла слишком близко к краю. Может быть, потому, что её белое платье отражалось в пруду так ясно, будто под водой уже жила другая Мирабель — бледная, молчаливая, неподвижная.

— Вы часто думаете об этом? — спросил он.

— О чём?

— О том, как легко утонуть.

Мирабель повернула голову и посмотрела на него с любопытством.

— Нет. Я чаще думаю о том, как трудно жить, если всё время бояться воды.

Она сделала шаг от края, будто желая успокоить его, и раскрыла свой зонтик. Кружево дрогнуло над её плечом белым кругом, тонким и почти прозрачным. Солнце просвечивало

сквозь узор, оставляя на её лице мелкие пятна света, похожие на тени листьев.

Эдвард знал женщин, которые умели быть красивыми. Его мать, например, была красива так, как положено быть красивой женщине её положения: строго, дорого, без всякой случайности. Его сёстры были милы и безупречно одеты; их красота держалась на хорошем воспитании, правильных жестах и умении вовремя опускать глаза.

Мирабель была красивой иначе.

В ней всё казалось случайным: прядь, выбившаяся на щеку; чуть неровно завязанный пояс; папироса, забытая между пальцами; смех, который приходил раньше, чем она успевала решить, прилично ли смеяться. Но именно эта случайность и делала её невозможной для сравнения. Она не украшала собой мир — она нарушала его порядок, и мир, к удивлению Эдварда, становился от этого живее.

— Вы давно в Англии? — спросил он.

— Достаточно, чтобы понять, что здесь все слишком любят закрытые окна.

— У нас влажный климат.

— У вас влажные души, мистер...

Она остановилась и чуть прищурилась, ожидая имени.

Он поклонился.

— Эдвард Эшфорд.

— Мирабель Риччи.

Она не сделала реверанса. Просто протянула ему руку —

легко, открыто, почти по-мужски уверенно. Эдвард на миг замер. В его мире молодые женщины не протягивали руку незнакомым мужчинам так, словно между ними уже существовало какое-то равенство.

И всё же он взял её пальцы.

Рука оказалась тёплой. Не прохладной, как у женщин в гостиных, пахнущих лавандой и пудрой, а именно тёплой, живой. На подушечках пальцев был едва заметный запах табака и чего-то горьковато-цветочного.

— Риччи, — повторил он. — Вы живёте поблизости?

— У тётки. Она вышла замуж за англичанина и теперь считает себя обязанной спасти меня от моей крови.

— От вашей крови?

— Итальянской, конечно. По её мнению, она слишком горячая для здешних ковров.

Эдвард невольно улыбнулся.

— А вы позволяете себя спасти?

— Иногда. Когда мне скучно.

Она затушила папиросу о камень с такой естественностью, будто это был не парк, а терраса где-нибудь во Флоренции. Потом опомнилась, подняла окурочек и завернула его в маленький платок.

— Я не дикарка, мистер Эшфорд. Просто иногда выгляжу убедительно.

— Вы всегда так разговариваете?

— Как?

— Так, будто каждое слово сначала смеётся над правилами, а уже потом становится словом.

Мирабель рассмеялась. На этот раз громче. Несколько дам, проходивших по соседней дорожке, обернулись. Одна из них поджала губы. Другая задержала взгляд на волосах Мирабель и, кажется, решила, что имеет дело с несчастным последствием континентального воспитания.

Эдвард заметил эти взгляды раньше Мирабель. Или, вернее, он подумал, что заметил раньше. Потому что Мирабель, не оборачиваясь, сказала:

— Они смотрят?

— Да.

— Осуждают?

— Вероятно.

— Прекрасно. Значит, я ещё существую.

Эдвард не нашёл, что ответить.

Эта фраза была слишком странной. Слишком лёгкой и слишком печальной одновременно. В ней будто мелькнуло что-то такое, что не принадлежало солнечному утру: тень, спрятанная под белым кружевом; холодок на дне тёплого голоса.

Он уже собирался спросить, что она имела в виду, но в этот момент со стороны аллеи донёсся знакомый голос:

— Эшфорд! Прости, старина, меня задержали.

К ним приближался Генри Уилтон, кузен Эдварда — весёлый, беспечный, немного шумный молодой человек, из тех,

кто умел опаздывать так обаятельно, что это почти сходило за достоинство. Он шёл быстро, размахивая тростью, но, увидев Мирабель, сбавил шаг.

Его взгляд скользнул по её распущенным волосам, белому платью, зонтику, задержался на лице — и в нём вспыхнул тот самый живой интерес, который Эдварду почему-то сразу не понравился.

— О, — сказал Генри. — Кажется, я явился в самый подходящий момент.

— Напротив, — сухо ответил Эдвард. — В самый неподходящий.

Мирабель с любопытством посмотрела то на одного, то на другого.

— Вы всегда так приветствуете друзей?

— Только самых близких, — сказал Генри и поклонился ей гораздо ниже, чем требовалось. — Генри Уилтон. К вашим услугам.

— Мирабель Риччи.

— Итальянка?

— Сегодня уже второй раз меня разоблачают. Англичане обладают пугающей наблюдательностью.

Генри рассмеялся.

— Нет, просто мы отчаянно скучаем и потому замечаем всё, что обещает нас развлечь.

— Генри, — тихо произнёс Эдвард.

В его голосе не было угрозы, только предупреждение. Но

Генри понял. Он всегда понимал, когда подходил к черте, просто редко считал нужным остановиться.

Мирабель тоже поняла. Она чуть наклонила голову и вдруг посмотрела на Эдварда иначе — внимательнее. Будто впервые увидела в нём не только холодную вежливость, но и что-то скрытое под ней: собственнический жест, сделанный раньше, чем он сам успел его осознать.

Эдвард почувствовал, как у него напряглись плечи.

Это было нелепо. Он не имел на неё никаких прав. Он познакомился с ней несколько минут назад. Он не знал о ней ничего, кроме имени, страны и того, что она умела смеяться над Англией так, будто Англия была пожилой родственницей, которую можно любить, но невозможно принимать всерьёз.

И всё же мысль о том, что Генри может начать ей нравиться, оказалась неожиданно неприятной.

— Я должна идти, — сказала Мирабель.

Эдвард сразу поднял глаза.

— Так скоро?

Вопрос прозвучал слишком быстро.

Генри едва заметно улыбнулся.

Мирабель улыбнулась тоже, но мягче.

— Моя тётка считает, что прогулка полезна ровно до той минуты, пока женщина не начинает получать от неё удовольствие.

— Вас ждёт экипаж? — спросил Эдвард.

— Нет. Я люблю ходить пешком.

— Одной?

— А разве я похожа на человека, которому нужна охрана?

Она сказала это легко, почти шутливо. Но Эдвард снова услышал в её голосе ту опасную ноту: свободу, которая не ждёт разрешения; смелость, которая слишком близка к беззащитности.

— В Лондоне, мисс Риччи, благоразумие не всегда признак слабости.

— А в Италии чрезмерное благоразумие часто принимают за отсутствие сердца.

Генри издал восхищённый смешок.

— Браво.

Эдвард бросил на него взгляд, и тот сразу заинтересовался набалдашником своей трости.

Мирабель сложила зонтик, хотя солнце всё ещё светило ей в лицо.

— До свидания, мистер Эшфорд.

Она произнесла именно его имя. Не имя Генри. Не общее вежливое прощание. И от этого простого выбора Эдварду стало странно тепло.

— Позвольте хотя бы проводить вас до выхода из парка,
— сказал он.

— Зачем?

— Потому что я был бы спокойнее.

— Вы всегда так честны?

— Нет.

Мирабель посмотрела на него и улыбнулась уже не насмешливо. Почти ласково.

— Тогда пойдёмте.

Они пошли рядом по дорожке, оставив Генри упруда. Тот, разумеется, не удержался и негромко присвистнул им вслед, но Эдвард сделал вид, что не слышит.

Некоторое время они молчали.

Парк жил своей утренней жизнью: шуршали юбки, скрипели колёса далёкого экипажа, няньки перекликались у детских колясок, в ветвях спорили птицы. Всё было как обычно — чинно, зелено, прилично. Но Эдвард вдруг почувствовал, что идёт не по знакомой дорожке, а по тонкой границе между своей прежней жизнью и чем-то совершенно неизвестным.

— Вы сердитесь на своего друга, — сказала Мирабель.

— Кузена.

— Тем более. На родственников сердятся сильнее, потому что их нельзя просто перестать знать.

— Генри бывает слишком... непосредственным.

— Вы хотели сказать — живым?

Эдвард усмехнулся.

— Вы защищаете его?

— Нет. Я просто заметила, что вы не любите живых людей, когда они ведут себя слишком заметно.

Он остановился.

Мирабель прошла ещё шаг, потом тоже остановилась и

обернулась. Ветер тронул её волосы, и одна прядь легла ей на губы. Она не убрала её сразу.

— Это несправедливо, — сказал Эдвард.

— Возможно.

— Вы меня совсем не знаете.

— Зато вы очень стараетесь, чтобы вас нельзя было узнать.

Эти слова попали точнее, чем ей следовало бы позволить. Эдвард ощутил почти физическое раздражение — не на неё, а на то, с какой лёгкостью она сделала то, чего не удавалось многим людям за годы знакомства. Она заглянула не глубоко, нет. Лишь коснулась поверхности. Но поверхность дрогнула.

— Мисс Риччи, в Англии это называется невежливостью.

— А в Италии — началом разговора.

Он хотел ответить холодно. Должен был. Но вместо этого вдруг рассмеялся.

Тихо, коротко, почти удивлённо.

Мирабель посмотрела на него с таким довольством, будто только что выиграла маленькую войну.

— Вот, — сказала она. — Так лучше. Вы становитесь похожи на человека.

— А до этого?

— На фамильный портрет.

Эдвард снова рассмеялся, уже свободнее. Ему показалось, что где-то очень далеко — в доме, среди предков, пра-

вил, ожиданий и безупречно расставленных кресел — кто-то неодобрительно поднял брови. Но здесь, рядом с Мирабель, это имело до странности мало значения.

У выхода из парка она остановилась.

За воротами начиналась улица: экипажи, прохожие, витрины, каменные фасады. Мир снова становился строгим и прямым.

— Благодарю, мистер Эшфорд.

— За что?

— За то, что проводили. И за то, что не прочитали мне нравоучение.

— Я был близок.

— Я заметила. Это придало прогулке драматизма.

Она раскрыла зонтик и подняла его над плечом. Белое кружево на миг заслонило её лицо, потом ветер чуть отодвинул край, и Эдвард снова увидел глаза.

— Вы придёте сюда завтра? — спросил он.

Вопрос вырвался прежде, чем он успел облечь его в более приемлемую форму. Например: «Имею ли я надежду снова встретить вас в этом парке?» Или: «Ваша тётя часто позволяет вам прогулки?» Или что-нибудь ещё, достаточно изящное, чтобы скрыть простую жадность желания.

Мирабель не стала делать вид, что не заметила этой жадности.

— А вы? — спросила она.

— Да.

— Тогда, возможно, и я.

— Возможно?

— Надежда полезнее уверенности, мистер Эшфорд. Она делает мужчин внимательнее.

Она повернулась и пошла по улице — белое пятно среди тёмных платьев, шляпок, перчаток и строгих английских спин. Эдвард стоял у ворот и смотрел ей вслед дольше, чем позволяла приличность.

Когда она скрылась за углом, он всё ещё видел перед собой её отражение в воде.

Белое платье.

Тёмные волосы.

Карие глаза.

И кружевной зонтик, который солнце делало почти прозрачным.

— Осторожнее, Эшфорд, — сказал за его спиной Генри. Эдвард обернулся.

Кузен стоял в нескольких шагах, опираясь на трость. На лице его уже не было прежней насмешки. Только любопытство — и, возможно, лёгкая тревога.

— С чем?

Генри посмотрел туда, где исчезла Мирабель.

— С женщинами, которые не носят шляпок. Обычно они приносят несчастья тем мужчинам, которые слишком крепко держатся за свои шляпы.

— Не говори глупостей.

— Я говорю не глупости, а семейную мудрость. Это почти одно и то же, но звучит дороже.

Эдвард поправил перчатку.

— Ты опоздал на двадцать минут.

— Зато явился как раз вовремя, чтобы увидеть, как мой безукоризненный кузен впервые за много лет забыл, что у него есть репутация.

— Моя репутация в полном порядке.

— Пока да.

Генри улыбнулся, но уже без прежней лёгкости.

Эдвард хотел возразить. Сказать, что Мирабель Риччи — всего лишь забавная иностранка, случайная встреча, приятное нарушение скучного утра. Что он забудет её к вечеру, если пожелает. Что человек его положения не теряет голову из-за женщины, которая смеётся слишком громко и говорит слишком прямо.

Но чем больше он подбирал мысленные объяснения, тем яснее понимал: каждое из них ложно.

Он снова посмотрел на пруд. Вода была спокойной. Такой спокойной, будто ничего не случилось.

Вечером того же дня Эдвард ужинал с родителями.

Столовая в доме Эшфордов была длинной, прохладной и торжественной даже тогда, когда за столом сидели всего трое. Серебро лежало на белой скатерти с такой точностью, будто его расставляли не слуги, а юристы, составляю-

щие брачный договор. На стенах висели портреты предков: мужчины в мундирах, женщины с жемчугом на тонких шеях, дети с серьёзными лицами, словно уже в колыбели понимавшие значение фамилии.

Эдвард с детства привык к этим взглядам.

Они сопровождали его за завтраком, за ужином, во время рождественских приёмов, во время похорон, во время скучных разговоров о земле, политике и браках. Они никогда не говорили, но всегда требовали. Не позорь. Не ослабляй. Не нарушай. Продолжай.

Обычно их молчаливое присутствие успокаивало его. В нём было что-то прочное, понятное, почти священное.

В тот вечер — впервые — оно показалось ему душным.

— Ты сегодня рассеян, — сказала мать.

Леди Беатрис Эшфорд редко задавала вопросы прямо. Она произносила наблюдения, и все за столом понимали, что это уже допрос.

Эдвард поднял глаза от тарелки.

— Простите. День был утомительным.

— Утомительным? — переспросил отец. — Ты был в клубе?

— Нет. В парке.

Лорд Эшфорд отложил нож.

— В парке люди твоего возраста обычно отдыхают, а не утомляются.

— Зависит от людей, которых они там встречают, — ска-

зала леди Беатрис.

Эдвард почувствовал, как внутри него что-то насторожилось.

— Я встретил Генри.

— Генри сам по себе способен утомить кого угодно, — сухо заметил отец и вернулся к ужину.

Мать, однако, не отвела взгляда.

— Только Генри?

Эдвард сделал глоток вина. Вино было красным, глубоким, безупречным. Он вдруг вспомнил, как Мирабель произносила слово «Италия», хотя на самом деле она этого слова сегодня не произносила вовсе. Просто всё в ней говорило так, будто где-то за её плечами шумело другое море, пахли нагретые камни, и люди не боялись смотреть друг другу в глаза слишком долго.

— Также одну знакомую Генри, — сказал он.

Это была ложь. Небольшая, почти приличная ложь. Генри действительно видел Мирабель. Значит, при определённом желании её можно было назвать знакомой Генри.

Мать услышала именно то, что он хотел скрыть.

— Знакомую?

— Мисс Риччи. Итальянка. Живёт у тётки.

На лице леди Беатрис не изменилось ничего, кроме глаз. Они стали чуть внимательнее.

— Риччи, — повторила она. — Кажется, я слышала это имя. Её тётка замужем за мистером Хардингом?

— Возможно.

— Очень странная женщина.

— Мисс Риччи?

— Её тётка. Хотя, говорят, племянница пошла ещё дальше.

Лорд Эшфорд едва заметно усмехнулся.

— Дальше Италии трудно пойти.

— О, Альфред, не будь смешон, — сказала леди Беатрис.

— Дело не в Италии. Дело в манерах. Говорят, девушка появляется в обществе с распущенными волосами.

Эдвард спокойно разрезал мясо.

— В парке.

— Это не меняет сути.

— Ветер меняет больше, чем правила, матушка.

Он произнёс это прежде, чем успел остановиться.

Нож отца снова коснулся тарелки, но теперь уже тише. Леди Беатрис посмотрела на сына так, будто он внезапно заговорил на неизвестном языке.

— Что ты сказал?

Эдвард опустил взгляд.

— Ничего существенного.

— Напротив. По-моему, это было весьма существенно.

В комнате повисла пауза. Слуга подошёл, чтобы наполнить бокалы, и отступил почти бесшумно, но Эдвард всё равно почувствовал неловкость его присутствия. В доме Эшфоров даже слуги умели слышать то, о чём не говорили.

— Я лишь хотел сказать, что случайная прогулка без шляпки не делает женщину опасной, — сказал Эдвард.

— Опасной женщину делает не отсутствие шляпки, — ответила мать. — А удовольствие, с которым она нарушает правила.

Ему следовало промолчать.

Разумный сын, наследник, мужчина, которому когда-нибудь предстояло носить имя рода так же безупречно, как отец носил свой чёрный вечерний сюртук, промолчал бы. Улыбнулся бы. Перевёл разговор на погоду, на предстоящий приём у Уилтонов, на цены на землю в Йоркшире.

Но в памяти снова всплыло лицо Мирабель под белым кружевом зонтика.

«Значит, я ещё существую».

— Возможно, иногда правила заслуживают того, чтобы их нарушали.

На этот раз отец посмотрел на него прямо.

— Осторожнее, Эдвард.

В голосе лорда Эшфорда не было гнева. Только металл. Тот самый металл, из которого делались фамильные гербы, замки на дверях и приговоры, произнесённые без повышения голоса.

Эдвард понял, что перешёл черту.

И, что было гораздо хуже, не почувствовал стыда.

— Разумеется, — сказал он. — Я говорю отвлечённо.

— Надеюсь, — произнесла леди Беатрис.

Больше о Мирабель не говорили.

Но весь оставшийся ужин Эдварду казалось, что она всё равно присутствует в комнате. Не за столом, конечно. Нет. Мирабель не могла бы сидеть в этой столовой спокойно: она бы задыхнулась между портретами, серебром и холодной сдержанностью. Но её отсутствие было заметнее любого присутствия. Она стояла где-то за окнами, в сумеречном саду, с непокрытой головой, и смеялась над тем, как серьёзно они все едят суп.

После ужина Эдвард поднялся к себе.

Его комната была просторной, строгой, без лишних вещей. Тёмное дерево, тяжёлые шторы, письменный стол, несколько книг, камин, часы на каминной полке. Всё в ней соответствовало ему — или тому человеку, которым его хотели видеть.

Он снял перчатки, положил их на стол и долго стоял у окна.

Внизу сад уже почти утонул в темноте. Только белые дорожки ещё слабо виднелись между кустами. Эдвард открыл окно. В комнату вошёл прохладный воздух.

«В Англии заметно всё, что не старается быть английским».

Он вспомнил, как сказал это ей, и как она рассмеялась. Не обиделась. Не смутилась. Не стала изображать благодарность за его внимание. Просто рассмеялась, будто он подарил ей не замечание, а игрушку.

Эдвард вдруг понял, что ждёт завтрашнего дня.

Это было неприятное открытие.

Он не любил ждать. Ожидание делало человека зависимым от случая, от чужого решения, от погоды, от настроения женщины с итальянской фамилией и белым зонтиком. Эдвард предпочитал планы. Назначенные встречи. Письма с чёткими формулировками. Договорённости, после которых оба участника понимали, как следует себя вести.

Мирабель не давала договорённостей.

«Возможно, и я».

Он почти усмехнулся. Возможно. Как будто одно слово могло удержать взрослого мужчину у окна до поздней ночи.

На следующее утро он приехал в парк слишком рано.

Разумеется, он сказал себе, что дело не в ней. День был хорош. Воздух после ночного дождя стал прозрачным, листья блестели, дорожки ещё хранили влажный след колёс. Ему полезна прогулка. В клубе сегодня будет скучно. Дома — ещё скучнее. Генри, вероятно, снова опоздает, если вообще явится.

Причин было множество.

Ни одна не объясняла, почему он остановился у того самого пруда и посмотрел на дорожку из-за ивы.

Мирабель не пришла.

Он прошёл вдоль воды. Потом до моста. Потом обратно. Поздоровался с пожилым полковником, которого знал с детства. Выслушал жалобы на правительство. Ответил доста-

точно вежливо, чтобы не казаться рассеянным, и достаточно коротко, чтобы разговор умер сам собой.

Мирабель всё не приходила.

К одиннадцати часам парк стал оживлённее. Появились дамы с компаньонками, няни с детьми, несколько молодых людей верхом. Эдвард поймал себя на том, что раздражается на каждое белое платье, которое оказывалось не её платьем.

Это было уже совершенно неприлично.

Не внешне — внешне он оставался безукоризнен. Он шёл неторопливо, держался прямо, здоровался с нужными людьми, не смотрел слишком пристально ни в одну сторону. Но внутри него что-то ходило кругами, как зверь в клетке.

В половине двенадцатого он решил уйти.

Именно тогда она появилась.

Не из-за ивы, как вчера, а со стороны ворот. На этот раз на ней было не совсем белое, а платье цвета сливок, с тонким голубым поясом. Волосы снова были распущены. Шляпки снова не было. Зонтик она держала раскрытым, хотя небо было облачным и солнце пряталось за мягкой серой дымкой.

Эдвард остановился раньше, чем успел сделать вид, что просто прогуливается.

Мирабель увидела его и улыбнулась.

Эта улыбка не была удивлённой.

Она знала, что он придёт.

Хуже того — она знала, что он будет ждать.

— Мистер Эшфорд, — сказала она, подойдя ближе. —

Какое совпадение.

— Совпадение, — повторил он.

— Вы не любите это слово?

— Я предпочитаю точность.

— Бедный вы человек.

— Почему?

— Потому что самые важные вещи почти никогда не бывают точными.

Она прошла мимо него к пруду, и Эдвард, после короткой внутренней борьбы, пошёл рядом.

— Вы опоздали, — сказал он.

— Разве мы договаривались?

— Нет.

— Тогда я пришла вовремя.

— Для себя?

— А для кого же ещё?

Он взглянул на неё. Мирабель смотрела вперёд и, кажется, наслаждалась его раздражением.

— Вы делаете это нарочно, — сказал он.

— Что именно?

— Говорите так, чтобы мне нечего было ответить.

— Нет, мистер Эшфорд. Вы просто привыкли, что люди оставляют вам удобное место для ответа. Я же не всегда помню о мебели.

Он не выдержал и улыбнулся.

Она заметила.

— Вот. Уже лучше.

— Вы вчера сказали то же самое.

— Значит, сегодня вы снова нуждались в улучшении.

Они дошли до моста. Небольшой каменный мостик соединял две дорожки над узким протоком, через который вода из пруда уходила дальше, в заросли. Он был старым, с низкими перилами, местами покрытыми мхом. Весной возле него цвели жёлтые ирисы, летом вода под ним темнела от тени.

Мирабель остановилась посередине и посмотрела вниз.

Эдвард невольно напрягся.

— Вы снова слишком близко к краю.

— Вы снова слишком близко к страху.

— Это называется здравым смыслом.

— Нет. Здравый смысл подсказывает не падать. А страх подсказывает не подходить.

Она положила ладонь на каменное перило. Белая кожа, тонкие пальцы, голубоватые жилки. Эдвард вдруг увидел, как легко эта рука могла бы исчезнуть под водой. Мысль была странной, резкой, неприятной.

— Вам нравится вода? — спросил он.

— Очень.

— Почему?

Мирабель задумалась.

— Потому что она помнит всё и ничего не объясняет.

— Это звучит по-итальянски.

— Это звучит честно.

Она наклонилась, глядя на своё отражение. Кружевной зонтик опустился ниже, и в воде появился белый круг — зыбкий, дрожащий, словно луна среди дня.

— В детстве, — сказала она, — я думала, что если долго смотреть в воду, можно увидеть жизнь, которая могла бы быть твоей, но почему-то не стала.

Эдвард усмехнулся.

— И вы видели?

— Иногда.

— Что именно?

Она выпрямилась и посмотрела на него.

— Себя. Но другую.

— Лучше?

— Свободнее.

Он хотел сказать, что трудно представить женщину свободнее её. Но не сказал. Потому что вдруг понял: внешняя свобода Мирабель была только самой яркой частью чего-то более глубокого. Возможно, она нарушала правила не потому, что ей было всё равно, а потому, что иначе ей становилось тесно в собственной коже.

— А вы? — спросила она.

— Что я?

— Видели когда-нибудь в воде другую жизнь?

— Нет.

— Конечно.

— Почему «конечно»?

— Вы не смотрите в воду, мистер Эшфорд. Вы смотрите на поверхность.

Он отвернулся к пруду.

Вода и правда была почти неподвижной. В ней отражались деревья, небо, камни моста, они сами: он — тёмная прямая фигура; она — светлая, расплывающаяся, словно отражение никак не могло удержать её очертаний.

— И что же, по-вашему, я должен увидеть? — спросил он.

— Не знаю. Может быть, человека, который спрятался под вашим безупречным сюртуком.

Он резко посмотрел на неё.

— Вы позволяете себе слишком много.

На этот раз Мирабель не рассмеялась.

Она только тихо закрыла зонтик. Кружево сложилось, как крыло мёртвой птицы.

— Да, — сказала она. — Мне часто это говорят.

Её голос изменился так внезапно, что Эдвард сразу пожалел о своей резкости.

— Простите.

— Не нужно.

— Я не хотел вас обидеть.

— Хотели. Просто не до конца.

Он замолчал.

Она смотрела не на него, а на воду. И впервые с момента их знакомства показалась ему не дерзкой, не опасной, не смешной, а одинокой.

Это открытие оказалось неожиданно болезненным.

— Мисс Риччи...

— Мирабель, — сказала она.

Эдвард не сразу понял.

Она повернула к нему лицо.

— Если вы собираетесь меня ругать, пусть это будет хотя бы по имени. Так честнее.

Он должен был отказаться. В их кругу имена не раздавали так легко, как цветы на прогулке. Особенно между мужчиной и молодой женщиной, знакомыми второй день. Особенно в парке. Особенно без свидетелей, если не считать воды, деревьев и нескольких уток, лишённых всякого чувства приличия.

— Мирабель, — произнёс он.

Имя легло на язык непривычно. Слишком мягко. Слишком тепло. Словно он не сказал его, а коснулся.

Она улыбнулась, но уже без прежней победы.

— Вот. Теперь вы почти живой.

— А вы?

— Что я?

— Вы живы всегда?

Мирабель долго смотрела на него. Ветер поднялся, тронул её волосы, бросил несколько прядей на щёку. Она не убрала их.

— Нет, — сказала она наконец. — Но я стараюсь.

И в этой короткой фразе было столько правды, что Эдвард

впервые не нашёл в себе желания защищаться.

Они стояли на мосту, над тёмной водой, слишком близко друг к другу для случайных знакомых и слишком далеко для людей, которым уже было предназначено причинить друг другу боль.

Потом Мирабель снова раскрыла зонтик.

— Пойдёмте, мистер Эшфорд. Если мы будем стоять здесь слишком долго, кто-нибудь решит, что мы влюблены.

Он посмотрел на неё.

— А это было бы скандалом?

— Для вас — да.

— А для вас?

Мирабель улыбнулась.

— Для меня это было бы, по крайней мере, не скучно.

Она пошла вперёд, легко ступая по камням моста, а Эдвард остался на миг позади.

Он смотрел на её спину, на волосы, на белый зонтик, на тонкую линию шеи. В груди у него было странно: не больно, нет. Скорее так, будто что-то давно неподвижное впервые повернулось и потребовало места.

Он догнал её у конца моста.

— Мирабель.

Она обернулась.

Он сам не знал, что хотел сказать. Что ей нельзя ходить одной. Что ей не следует говорить с мужчинами так откровенно. Что Англия не простит ей такой свободы. Что он тоже

не простит — не ей, а себе, если завтра снова будет ждать её у пруда.

Но вместо всего этого он спросил:

— Вы придёте завтра?

Мирабель посмотрела на него почти нежно.

— Теперь уже да.

И с этого дня парк перестал быть парком.

Он стал местом, где Эдвард Эшфорд каждый день терял понемногу свою прежнюю жизнь и называл это прогулкой.

Сначала он приходил туда с осторожностью.

Не рано, нет. Раннее появление выдало бы нетерпение. Не к тому самому пруду сразу — это было бы слишком очевидно. Он выбирал другую аллею, проходил мимо клумб, здоровался с людьми, которых не желал видеть, покупал газету, которую не читал, и только потом, будто случайно, оказывался у воды.

Мирабель почти всегда уже была там.

Иногда она сидела на скамье, держа раскрытую книгу вверх ногами и ничуть этим не смущаясь. Иногда кормила птиц, хотя на табличке у дорожки было ясно написано, что этого делать не следует. Однажды он нашёл её стоящей босиком на траве за большой ивой, с туфлями в руке и таким невинным видом, будто именно обувь совершила что-то неприличное, а не она.

— Мисс Риччи, — сказал он тогда, остановившись в двух шагах от неё. — Вы окончательно решили погубить свою ре-

путацию?

— Нет, мистер Эшфорд. Сегодня я решила погубить только чулки. Репутация подождёт до завтра.

Он хотел быть строгим.

Не вышло.

Она стояла на траве, щурясь от солнца, и шевелила пальцами ног с таким счастьем, будто земля сообщала ей какую-то тайну, недоступную всем приличным людям в ботинках.

— Вас могут увидеть.

— Меня всегда могут увидеть.

— И это вас не тревожит?

— Иногда. Но не настолько, чтобы всю жизнь ходить в тесной обуви.

Эдвард посмотрел на дорожку. К счастью, вокруг никого не было, кроме старого садовника вдалеке, который делал вид, что занят кустами, хотя, несомненно, видел всё.

— Наденьте туфли, — сказал он.

— Вы приказываете?

— Прошу.

— Это лучше.

Она протянула ему одну туфлю.

— Тогда помогите.

Он замер.

Мирабель опустилась на скамью и подняла край платья ровно настолько, чтобы открыть узкую ступню, влажную от

росы. Движение было простым, почти детским, но Эдвард почувствовал, как кровь прилила к лицу. Никогда в жизни женская щиколотка не казалась ему событием национально-го масштаба, за которым следовало бы немедленно созвать парламент.

— Мирабель.

— Что?

— Вы не можете просить меня об этом.

— Почему?

— Потому что...

Он не договорил.

Потому что она была молодой незамужней женщиной. Потому что он был мужчиной. Потому что парк, утро, трава, её распущенные волосы и его рука с её туфлей вдруг образовали такую близость, для которой не существовало приличного объяснения.

Мирабель смотрела на него снизу вверх, и в её глазах было не кокетство. Хуже. Любопытство. Она словно изучала границу, до которой его можно было довести, прежде чем он отступит за фамильный герб.

— Потому что? — мягко повторила она.

Эдвард опустился на одно колено.

— Потому что вы совершенно невозможны.

— А вы совершенно предсказуемы. Это делает нас хорошей парой для разговора.

Он надел ей туфлю.

Пальцы его едва коснулись её ступни, но этого оказалось достаточно, чтобы всё утро изменило цвет. Где-то рядом чирикали воробьи, скрипела тележка садовника, по дорожке проехала детская коляска. Мир продолжал быть будничным. Только Эдвард уже не был прежним.

Мирабель тихо сказала:

— Спасибо.

На этот раз без насмешки.

Он поднял глаза. Её лицо было совсем близко. Солнце проходило сквозь листья и ложилось на её волосы пятнами тёплого золота.

— Вторую наденете сами, — сказал он сухо, поднимаясь.

— Разумеется. Нельзя же за один день разрушить все ваши принципы.

— Вы уже стараетесь.

— Да. Но медленно. Чтобы вы привыкли.

Она надела вторую туфлю сама, встала и отряхнула подол платья. После этого они пошли к пруду, как будто ничего особенного не произошло.

Но в тот день Эдвард впервые не предложил проводить её только до ворот.

Они прошли дальше.

Сначала до угла улицы. Потом ещё немного, потому что Мирабель сказала, что тётка всё равно будет возмущаться, так пусть хотя бы возмущение будет заслуженным. Потом они оказались у маленькой кондитерской, где она настояла,

что английские пирожные слишком воспитанные и им не хватает отчаяния.

— Пирожным? — переспросил он.

— Конечно. Хороший десерт должен хотя бы немного угрожать человеку.

— Чем?

— Счастьем.

Он купил ей пирожное с кремом.

Она ела его на улице, не дожидаясь дома, и капля крема осталась у неё на губе. Эдвард увидел её и вдруг не смог думать ни о чём другом. Он даже перестал слышать, что она говорит.

— Что? — спросила Мирабель.

— Ничего.

— Вы смотрите так, будто я совершила преступление.

— Почти.

— Крем?

Он молчал.

Она поняла, провела большим пальцем по губе и облизнула его с такой беспечной естественностью, что Эдвард отвернулся к витрине.

— Теперь вы похожи на человека, который молится о спасении, — сказала она.

— Я выбираю пирожное.

— Лжёте.

— Иногда это необходимо.

— Нет. Иногда это удобно. Не путайте.

Он посмотрел на неё.

В этих словах снова было что-то слишком точное. Мирабель умела касаться опасного места, а потом тут же улыбаться, будто не произошло ничего важного.

С каждым днём он узнавал в ней всё больше таких странностей.

Она могла говорить о пустяках так, словно они были великими тайнами, и о боли — так, словно это пустяк. Она не любила закрытые комнаты, но обожала старые церкви. Не терпела, когда ей указывали, что делать, но могла часами слушать, если человек говорил честно. Она смеялась над английскими правилами, но однажды заплакала, увидев, как мальчик сломал крыло бабочке.

— Она всё равно бы умерла, — неловко сказал Эдвард, не понимая, как утешить женщину, плачущую из-за насекомого.

— Все всё равно умрут, — ответила Мирабель. — Это не значит, что можно быть жестоким.

Он запомнил это.

Как запоминал всё.

Её любимые слова. Её привычку щуриться, когда она спорила. То, как она держала папиросу — не между двумя пальцами, как это делали мужчины в клубе, а легко, почти лениво, словно огонь был маленьким домашним зверьком. То, как она говорила «Эдвард», когда забывала, что ещё недавно

называла его мистером Эшфордом.

Сначала имя срывалось с её губ случайно.

— Эдвард, посмотрите, эта собака похожа на вашего дядю.

— На какого именно?

— На самого важного. У неё такой же взгляд, будто она владеет всей улицей.

— Мирабель.

— Что? Разве не похожа?

Он начинал сердиться, но она смеялась, и его строгость рассыпалась.

Потом имя стало привычкой.

— Эдвард, вы когда-нибудь хотели сбежать?

— Куда?

— Разве это важно?

— Для побега — да.

— Нет. Важнее откуда.

Они сидели у пруда. Был июнь, один из тех английских июней, которые почти убеждают человека, что страна умеет быть нежной. Вода блестела между листьями, по аллеям гуляли дамы с зонтиками, дети катали обручи, где-то далеко играл уличный музыкант.

Эдвард не сразу ответил.

— Нет, — сказал он наконец. — Не хотел.

Мирабель посмотрела на него внимательно.

— Никогда?

— Никогда.

— Как страшно.

— Почему?

— Значит, вы даже не знаете, что у вас есть клетка.

Он усмехнулся.

— А вы всегда знаете?

— Да.

— И где ваша?

Она опустила взгляд на воду.

— В чужих ожиданиях. В письмах из дома. В тётушкиных вздохах. В словах «так нельзя», когда никто не может объяснить, почему именно нельзя. В памяти о том, кем я должна была стать.

— И кем же?

Мирабель улыбнулась, но печально.

— Удобной.

Эдвард замолчал.

Слово было простое, но в её голосе оно прозвучало почти непристойно. Удобной — значит, тихой. Приемлемой. Правильно одетой. Благодарной. Достаточно красивой, чтобы ею любоваться, но недостаточно живой, чтобы она нарушала покой.

Он вдруг понял, что вся Англия вокруг него веками воспитывала женщин именно для этого: быть удобными. Для домов, фамилий, мужей, разговоров за чаем, родословных и портретов.

А Мирабель была неудобной всем своим существом.

И именно поэтому рядом с ней ему впервые было не скучно жить.

— Вы не удобны, — сказал он.

Она повернула к нему лицо.

— Я знаю.

— И не будете.

— Надеюсь.

— Даже если вас попросят?

— Особенно если попросят.

Он хотел сказать, что в жизни бывают просьбы, от которых нельзя отказаться. Что иногда человек принадлежит не только себе. Что имя, семья, долг — не пустые слова. Что свобода, которой она так дорожит, прекрасна лишь до тех пор, пока за неё не приходится платить другим людям.

Но слова застряли.

Потому что он вдруг увидел, как однажды сам будет стоять перед ней и просить стать удобной.

Не сейчас. Не в этот июньский день. Не под этим лёгким небом, где вода сияла и Мирабель смеялась над чужими шляпками.

Но когда-нибудь.

Мысль пришла и ушла так быстро, что он почти не успел её испугаться.

Почти.

В июле они уже встречались не случайно.

Они всё ещё не называли это свиданиями. Эдвард не приглашал её письмами. Мирабель не давала обещаний. Но каждый день имел свой тайный час, и оба знали: если один не придёт, другой будет ждать.

Иногда с ними бывал Генри.

Он появлялся внезапно, приносил новости, сплетни, плохие шутки и хорошее настроение. Мирабель любила его лёгкость. Эдвард делал вид, что это его не раздражает.

— Ваш кузен веселее вас, — сказала она однажды, когда Генри ушёл покупать лимонад для всех троих.

— Это несложно.

— Вы признаёте?

— Я не соревнуюсь с Генри в легкомыслии.

— А зря. Вам бы пошло.

— Легкомыслие?

— Нет. Поражение.

Эдвард покачал головой.

— Вы жестоки.

— Неправда. Я просто не боюсь видеть вас смешным.

— А мне следует быть смешным?

— Всем следует. Хотя бы иногда. Иначе душа покрывается пылью.

Генри вернулся с лимонадом и двумя пирожными вместо трёх, потому что третье, по его словам, трагически погибло по дороге. Мирабель смеялась так, что на них оборачивались. Эдвард смотрел на неё и думал, что готов терпеть даже

Генри, если тот заставляет её смеяться.

Но позже, когда кузен ушёл, Мирабель вдруг сказала:

— Вы ревнуете.

Эдвард едва не споткнулся.

— Простите?

— К Генри.

— Это абсурд.

— Да. Но абсурд тоже может быть правдой.

— Я не имею причин ревновать.

— Причины редко спрашивают разрешения.

Он остановился.

— Мирабель.

Она тоже остановилась. Вокруг было слишком много людей, чтобы разговор мог стать опасным, и слишком мало, чтобы он мог спрятаться.

— Что? — спросила она тихо.

Эдвард посмотрел на её лицо.

Он мог бы всё изменить в тот момент. Мог бы сказать: да, я ревную. Да, мне неприятно видеть, как вы смеётесь с другим мужчиной. Да, я думаю о вас слишком часто. Да, я прихожу сюда из-за вас. Да, я не знаю, что с этим делать.

Но за её плечом он увидел леди Беатрис.

Мать стояла у поворота аллеи рядом с двумя знакомыми дамами. Она не смотрела прямо на них — леди Беатрис была слишком хорошо воспитана, чтобы разглядывать сына с неподобающим интересом. Но Эдвард понял: она видела

всё. Мирабель, её волосы, его лицо, их остановку, расстояние между ними.

И весь мир, который ещё минуту назад казался зелёным, тёплым и живым, снова стал строгим.

— Ничего, — сказал он.

Мирабель проследила за его взглядом.

Она сразу поняла.

В её лице что-то изменилось. Не обида — нет. Обида была бы проще. Скорее тишина. Небольшая, но очень холодная.

— Ваша мать? — спросила она.

— Да.

— Тогда вам лучше подойти к ней.

— Мирабель...

— Не волнуйтесь. Я умею исчезать достаточно прилично.

— Не говорите так.

Она улыбнулась.

— Почему? Это ведь то, что от меня здесь хотят.

И прежде чем он успел ответить, Мирабель раскрыла белый зонтик, повернулась и пошла к другой дорожке.

Эдвард остался стоять.

Ему понадобилось несколько секунд, чтобы заставить себя направиться к матери. Каждый шаг давался неожиданно тяжело, будто он шёл не по гравию, а по собственной трусости.

Леди Беатрис встретила его спокойной улыбкой.

— Эдвард. Какая приятная неожиданность.

— Матушка.

Он поцеловал ей руку. Две дамы рядом с ней обменялись любезностями, спросили о здоровье лорда Эшфорда, о предстоящем благотворительном вечере, о погоде. Всё было безупречно. Ничего не произошло. Никакого обвинения, никакого скандала, ни одного лишнего слова.

Именно это было хуже всего.

Лишь когда дамы отошли немного вперёд, леди Беатрис сказала:

— Твоя знакомая весьма заметна.

— Она не моя знакомая.

Мать подняла брови.

Эдвард понял, как это прозвучало, и сжал губы.

— Я хотел сказать, не в том смысле.

— Очень надеюсь.

— Вы ошибаетесь, если думаете...

— Я не думаю, Эдвард. Я вижу.

Он посмотрел в сторону, где исчезла Мирабель. Белого зонтика уже не было видно.

— Она не сделала ничего дурного.

— Такие женщины редко делают дурное сразу. Сначала они просто входят в комнату, где им не место. Потом все начинают двигать стулья.

— Она не «такая женщина».

— А какая?

Эдвард молчал.

Леди Беатрис посмотрела на него внимательно, почти мягко. И от этой мягкости стало ещё холоднее.

— Мой мальчик, ты можешь позволить себе увлечение. Мужчины твоего положения иногда позволяют себе гораздо больше. Но ты не можешь позволить себе заблуждение.

— Заблуждение?

— Думать, что подобная девушка может стать частью твоей жизни.

Эдвард резко повернул голову.

— Я не говорил, что...

— Именно поэтому я говорю сейчас.

Он почувствовал, как внутри поднимается гнев. Не бурный, не горячий, а опасно спокойный.

— Вы ничего о ней не знаете.

— Достаточно.

— Нет.

— Итальянка без состояния, без положения, с сомнительными манерами, живущая у родственницы из милости...

— Матушка.

— ...и, судя по всему, не понимающая, что свобода женщины заканчивается там, где начинается имя мужчины, рядом с которым её замечают.

— Довольно.

Леди Беатрис замолчала.

Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Впервые за долгие годы Эдвард увидел в глазах матери не уверен-

ность, а тревогу.

— Вот как, — сказала она.

Он сразу понял, что выдал себя сильнее любым признанием.

Мать отвернулась к пруду.

— Будь осторожен, Эдвард. Иногда мужчина губит себя не тем, что делает, а тем, что слишком долго не решается назвать вещи своими именами.

Он хотел спросить, что именно она имеет в виду.

Но боялся, что ответ уже знает.

В тот день Мирабель больше не появилась.

На следующий день тоже.

На третий Эдвард пришёл к пруду раньше обычного и впервые перестал делать вид, что оказался там случайно. Он стоял у воды, не заботясь о том, кто увидит, и смотрел на мост.

Мирабель пришла после полудня.

На ней было простое белое платье без всяких украшений. Волосы заплетены в свободную косу — впервые с их знакомства. Шляпки всё равно не было. В руках она держала тот самый кружевной зонтик.

— Вы заболели? — спросил он вместо приветствия.

— Нет.

— Почему вы не приходили?

— Я приходила.

— Ложь.

— Да.

Он шагнул ближе.

— Мирабель.

— Я хотела посмотреть, как долго вы будете ждать.

— И?

Она подняла глаза.

— Долго.

В её голосе не было победы. Только усталость.

Эдвард вдруг понял, что эти два дня она, возможно, страдала не меньше него. Просто иначе. Не у воды. Не на виду. Где-то в чужом доме, среди тёткиных замечаний, писем из Италии и собственного упрямого сердца.

— Моя мать не имеет права говорить о вас так, как говорила, — сказал он.

Мирабель чуть улыбнулась.

— А как она говорила?

— Вы знаете.

— Я догадываюсь. Это разные вещи.

— Она была несправедлива.

— Нет, Эдвард. Она была англичанкой.

— Это не оправдание.

— Для неё — почти да.

Он молчал.

Мирабель подошла к перилам моста и положила ладонь на камень.

— Ваша мать боится не меня.

— А чего?

— Того, что рядом со мной вы можете захотеть быть не только сыном.

Он посмотрел на неё.

— А кем?

Она повернулась к нему, и в её карих глазах было столько света, что ему стало трудно дышать.

— Собой.

Это слово оказалось самым опасным из всех, что она когда-либо говорила.

Эдвард взял её за руку.

Не случайно. Не чтобы помочь. Не в рамках приличия, не под видом вежливости. Просто взял — на мосту, среди белого дня, где их мог увидеть кто угодно.

Мирабель не отдёрнула руку.

Её пальцы были тёплыми.

— Эдвард, — сказала она тихо.

— Я не знаю, что делаю.

— Знаете.

— Нет.

— Тогда не лгите хотя бы себе.

Он смотрел на их соединённые руки и понимал, что с этого мгновения уже не сможет притвориться, будто всё это — прогулки, разговоры, случайная симпатия, летняя слабость.

Мирабель стала его опасностью.

Его воздухом.

Его ошибкой.

Его настоящей жизнью.

Он поднёс её руку к губам и поцеловал — не перчатку, не воздух над пальцами, как положено, а тёплую кожу у основания ладони.

Мирабель закрыла глаза.

Белый зонтик упал на камни моста.

И где-то под ними вода, тёмная и неподвижная, приняла его отражение рядом с её отражением так спокойно, будто давно знала, чем всё закончится.

Мирабель услышала этот тихий звук — сухой, почти смешной, будто мир нарочно уронил что-то лёгкое в минуту, когда всё стало невыносимо серьёзным. Она открыла глаза и посмотрела сначала на зонтик, потом на Эдварда.

Он всё ещё держал её руку.

Кожа в том месте, где коснулись его губы, горела странным маленьким огнём. Не тем, от которого хочется отдёрнуться. Тем, который хочется спрятать под перчаткой и носить с собой весь день, как тайну.

— Теперь вы погублены, мистер Эшфорд, — сказала она очень тихо.

Голос её дрогнул, но улыбка осталась.

Эдвард поднял глаза.

— Из-за поцелуя руки?

— Из-за того, что сделали это не так, как положено.

Он посмотрел на её ладонь, словно только теперь понял

разницу. В его мире поцелуй руки был вежливостью, знаком уважения, жестом, который ничего не обещал и потому был безопасен. Но он поцеловал её кожу не как светский человек. Он поцеловал её так, будто впервые признался в том, что молчало в нём всё лето.

— Простите, — сказал он.

Мирабель нахмурилась.

— Нет.

— Что?

— Не просите прощения за то, о чём не жалеете.

Он медленно отпустил её руку.

— Вы уверены, что я не жалею?

— Да.

— Откуда?

Мирабель наклонилась и подняла зонтик. Кружево зацепилось за шероховатый камень, и она осторожно освободила край, будто спасала живое существо.

— Потому что вы сейчас не похожи на человека, которому стыдно, — сказала она. — Вы похожи на человека, которому страшно.

Эдвард отвернулся к воде.

Она опять была права.

Ему было страшно. Не перед Мирабель, не перед самим жестом, не перед возможными сплетнями, хотя любой прохожий, увидевший их на мосту, мог бы за один день превратить лето в скандал. Ему было страшно перед тем, как легко

внутри него что-то согласилось с этим падением.

Он не боролся.

Не по-настоящему.

Всю жизнь Эдвард считал себя человеком воли. Он умел отказывать себе в лишнем, скрывать чувства, соблюдать меру, выбирать долг даже тогда, когда долг был неприятен. Его уважали именно за это: за спокойствие, за надёжность, за способность никогда не становиться смешным.

Но рядом с Мирабель он всё чаще обнаруживал в себе не волю, а только привычку к послушанию.

И эта привычка слабела.

— Если я скажу, что нам не следует больше встречаться, — произнёс он, не глядя на неё, — вы посмеётесь?

— Нет.

Он повернулся.

— Нет?

— Нет. Я уйду.

Эдвард почувствовал холод.

— Так просто?

— Нет. Не просто. Но я уйду.

— Почему?

Мирабель посмотрела на него долгим, спокойным взглядом.

— Потому что я не хочу просить мужчину выбирать меня. Если он не выбирает сам, он всё равно не мой.

Эти слова вошли в него тихо, без удара, но глубоко.

Не мой.

Как будто он уже мог быть её. Как будто между ними действительно существовало что-то, что можно было назвать принадлежностью — не юридической, не семейной, не одобренной обществом, а иной, более опасной. Такой, которую не записывают в книгах родословных, но именно она потом мучает сильнее всего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.